**И ПР.**

*Фрагмент*

...Вспоминаю начало восьмидесятых, и в этом времени – Кублановского, в ореоле своей тогдашней, из ничего буквально возникшей, известности храброго «метропольца», очередного героя нашего времени, гонимого властями страдальца и натурального мученика, лютой ненавистью ненавидящего коммунистическую идеологию, всем своим вольнолюбивым, правдивым, в полной мере гражданственным, на демократических принципах базирующимся творчеством упрямо противостоящего кондовому и лживому советскому режиму, полноправного и незаменимого участника знаменитого в писательских кругах альманаха «Метрополь», как, впрочем, и тоже, на поверку, на пустом месте возникшей и ничего не только по большому, с планетарным, видать, размахом, но и по простому, скромному, житейскому, человеческому, обычному счёту не стоящей известности его альманашных соратников, но зато понта, глуповатого изначально и дурацкого вскорости гонора, видимо, из-за осознанной им наконец-то собственной миссии просветителя и учителя жизни для всей горемычной России, чванливой гордости по поводу содеянного им, некой чуть ли не заговорщицкой, но вскоре уже не скрываемой и напоказ выставляемой радости, по вполне понятной причине окончательного выбора им удобной и выгодной во всех отношениях позиции, маскарадной таинственности и липовой многозначительности было тогда в поведении Куба – на десятерых, и он, в отличие от меня, от Губанова, от Величанского, был в курсе всех литературных событий, всех кулуарных интриг, всех происшествий, – и с удовольствием, смакуя свои слова, осознавая свою несомненную, в отличие от нас, его бывших товарищей, причастность к литературному процессу, он, при всяком удобном случае, рассказывал нам что-нибудь этакое, новенькое, свеженькое, не успевшее залежаться, связанное с узнаваемыми литературными персонажами.

Так однажды поведал мне Куб – впрочем, замечу, в дальнейшем об этом охотнейшим образом и другие люди рассказывали – ну а может, и сам я там был, – или это мне просто приснилось? – нет, конечно же, это –   
явь, но – похожая слишком на сон, быль с налётом фантасмагории, – вот какую, из ряда вон выходящую, вне времён, любопытную, право, историю.

В ЦДЛ – Центральном Доме литераторов – гадюшнике – так мы с друзьями обычно его называли – появилось вдруг объявление.

Скромное объявление.

Но – со смыслом.

И с подтекстом, надо полагать, немалым.

А может, и с юмором даже.

Кто его знает?

Мало ли что могло в нём таиться?

Мало ли что стояло тогда за ним?

Важно, что появилось – объявление.

И в нём сказано было, что именно здесь, в гадюшнике, состоится – вечер Ерофеева.

Слух об этом вырвался из стен литераторского дворца – и мгновенно облетел всю Москву.

Все, читавшие ерофеевскую повесть или хотя бы слышавшие о том, что есть вот такой, необычный, помягче скажем, писатель, из непечатающихся, но широко известных в самиздате, не на шутку разволновались.

Ничего себе!

В такое глухое время – и нате вам, вечер.

И не кого-нибудь там, не Вознесенского, не Рождественского, не Окуджавы даже, и не Битова, за которого, как сообщала одна из советских газет, двух небитых дают, – а самого Ерофеева!

– Того самого!

– Запретного!

– Властью гонимого!

Певца алкоголя и повального пьянства отечественного – да и в жизни, как все говорят, человека очень даже пьющего.

Надо же!

Из подполья – и на свет, к людям!

– Неужели – разрешили?

– Неужели – позволили?

Слухи именно летели по столице.

Вовсе не ползли.

Разлетались, по всем её углам и закоулкам, по мастерским художников и квартирам интеллигентов.

Слухи были – оправданными.

– Да, представьте себе, вечер.

– Ерофеевский. В ЦДЛ.

– Сами видели объявление.

– Там написано: Ерофеев.

И вот, в соответствующий день, к нужному часу, народ потянулся со всей Москвы в одном направлении – к Дому литераторов.

И вскоре у входа в гадюшник бурлила громадная людская толпа.

Все знакомые успели созвониться, друг другу сообщить:

– Скорее – на вечер Ерофеева!

Литераторы,

официальные, но, тем не менее, гордящиеся тем, что в некоторых, пусть и редких, редчайших случаях, даже им, тоже не лыком шитым, не пальцем деланным, удавалось им, да, представьте, удавалось обходить и надувать грозную цензуру,

и неофициальные, которым на любую цензуру было наплевать, поскольку что хотели, то и писали, без малейшей надежды на издания, что приходило в голову, то и говорили, правду-матку резали запросто, ничего не страшась, вроде бы, формализм такой выдавали, что куда там до них каким-нибудь авангардным писателям западным, –

все, из всех лагерей, из всех групп, содружеств и сборищ, жаждали воочию увидеть своего собрата по перу.

Люди самиздата,

не единожды, а многажды, увлечённо, вдохновенно, целенаправленно, для себя самих, для своих друзей, для приятелей, для знакомых, день за днём, а то и ночами, год за годом, уже по привычке, по традиции давней отечественной, по причине любви огромной к нелегальщине, к полузапретной и запретной литературе, на машинках своих выносливых, в нескольких экземплярах, под копирку, перепечатывавшие ерофеевские «Москва – Петушки» (поскольку перепечатывать-то, из сочинений этого автора, больше и нечего было, если уж честно сказать),

составляли в этой толпе большинство.

Пришли художники,

бородатые в основном, редко кто с усами или бритый, могучими кучками собирающиеся, свой к своим, исподлобья по сторонам поглядывающие, всё вокруг примечающие зорким взором, этакие откровенные богемщики, по природе своей, по призванию, обитатели подвалов, чердаков, балагуры, молчуны, выпивохи, ворчуны, острословы, отшельники, кто каков уж есть, в свитерах, старых куртках, потёртых джинсах, пусть на Западе давным-давно известные, но в родной своей стране, как водится, подпольные, авангардные, сплошь неофициальные – и, в отличие от них, официальные псевдохудожники, тоже кучкующиеся со своими, сытые, деловитые, сплошь нарядные, ухоженные, мосховские.

Но и у тех и у других была и полностью совпадающая тайная мысль –

изобразить бы Веничку, при случае!

Увековечить – как Зверев говаривал.

Надежда на этот случай, на такое вот негаданное чудо – прочно жила в сердцах пришедших сюда художников.

(Поговаривают, что видели там даже Толю Зверева.

Он подъехал сюда на такси. Буркнул шефу, чтоб подождал. Грузно, боком, с охами, ахами, причитаниями, прибаутками, зарифмованными парадоксами, вылез на тротуар.

К гению авангарда, сминая всё на своём пути, моментально ринулась ликующая орда художников разномастных:

– Толя!

– Приехал Толя!

– Анатоль!

– Тимофеич!

– Зверев!

– Братцы, это же Зверев!

– Приветствуем вас!

– Привет!

Зверев брезгливо поморщился.

Отшатнулся от всей орды.

И спросил:

– А где Ерофеев?

И ему ответили:

– Ждём!

И махнул тогда Зверев устало гениальной своей рукой всей богемной орде:

– Ну, ждите!..

Повернулся спиною к ним.

И полез обратно в такси.

И машина с места рванулась.

И помчался в ней Толя Зверев, приговаривая: «Хорэ!» – всё вперёд и вперёд куда-то, но куда же? – да кто его знает! – может, в Гиблово-Свиблово, может – к реалистам, а может – к Плавинскому, или – к шурину, или – к Костаки, ну а может быть – прямо в будущее.

Всем, кто взглядом его провожали, предстоит с ним увидеться – там...)

Пришли артисты московских театров.

Скоморохи. Ну что тут скажешь?

Скоморох к скомороху – тянется.

Артисты. Рыбак рыбака видит издалека.

Был артистизм ерофеевский по душе им. И это понятно. Само собой разумеется. Пришли – своего повидать.

А также пришли – студенты театральных столичных вузов и участники всяческих студий.

Колоритная публика. Пёстрая. Разношёрстная. Оптимистичная.   
С очевидным потенциалом. Да и с гонором тоже немалым.

Пришли – получить уроки свободного артистизма. Заодно – и уроки Вениного актёрского мастерства.

Пришли – вообще студенты.

Из всяческих вузов. Отчаянные.

Донельзя свободолюбивые.

Настолько, что дальше некуда.

Молодые. С запалом. Горячие.

Как теперь говорят – фанаты.

Ерофеевцы. Петушковцы.

Или, может, москва-петушковцы.

Самиздатовские питомцы, наизусть всю поэму знавшие.

У троих, говорили, были с собою магнитофоны.

Пришли учёные. Физики. Они же, по совместительству, и лирики. Так было принято в минувшие годы. Бывали на эту тему дискуссии: кто это – физики? кто это – лирики? Разные люди? Или одни и те же?

Физики – были лириками.

Лирики – были физиками.

И так и этак. Поэтому – не всё ли равно теперь?

Учёные – жили искусством.

Они дружили – с поэтами.

В своих институтах – выставки устраивали авангардные.

В Курчатовском институте.

И в институте Капицы.

И в других институтах московских.

И даже в новосибирском Академгородке далёком, где пел, например, Галич, выставлял работы Шемякин, где Володя Бойков, математик, поэт, со своими друзьями, культурную жизнь учёных поддерживал на высоте.

Учёные очень любили родную литературу.

И в ней – Ерофеева. Веню.

За всем им давно известные, те самые, самиздатовские, гулявшие в тысячах списков по всей великой стране, зачитанные до дыр,

а кое-кем наизусть заученные, благо текст не столь и велик, чтоб его нельзя было не заучить, знаменитые «Петушки», – ведь знали же наизусть некоторые любители романы Ильфа с Петровым, которые по объёму неизмеримо больше творения ерофеевского! –

но Веня был всё-таки Веней, а вовсе не Ильфом с Петровым, – и заучивали его поэму фанатики рьяные по причине любви к свободе, к алкоголю, к жестокой правде жизни нашей, общесоюзной, а не только российской, или петушковской, или московской, и готовы были, при случае, на скрижалях когда-нибудь выбить, чтобы знали их все, чтоб заучивали наизусть, золотые, право, или, может, даже алмазные, по своей-то крепости, силе, вдохновенные, сокровенные ерофеевские слова.

Пришли выпивохи. Серьёзные.

Заслуженные. Матёрые.

Пришли под хмельком, но в меру, просто для настроения. И все, как один, – с заначками: с чекушками и поллитрами, которые сберегались на тот счастливейший случай, ежели после вечера удастся им с Ерофеевым распить их и поговорить по душам – ведь ранимые и мятежные души их требовали выпивонов и разговоров.

Пришли богемные болтуны и оглоеды – чтобы подпитку энергетическую получить, чтобы им было о чём позже молоть языками.

Такие вели себя, можно сказать, вызывающе.

На себя обращали внимание. Сознательно. Чтобы видели. Очень профессионально. Чтобы знали, кто перед ними. Не какие-нибудь замухрышки, но элита. Ни больше, ни меньше. Золотые умы, да и только. Интеллекты, кого ни возьми.

Говорили – бойко и громко. Жесты были – давно отработаны. Взгляды были – обдуманы. Фразы – на скрижали просились тут же. Афоризмы – сыпались градом. Парадоксы – дождём лились.

Пресловутое «общественное мнение» создавали всюду именно они.

Пришли вполне экзальтированные столичные некие дамочки. Накрашенные. Богемистые. Но в то же время и светские. Ну, пусть полусветские. Всё-таки – дамочки. Женского полу. Как ни крути, но так. Что с них взять? Создания странные. Всякие эфемериды. Бабочки, мотыльки.

Разговоры у них – порхающие. С крылышками, как водится. Легковесные. Тиховейные. И к тому же – благоговейные. Прямо феи. Сильфиды. Нимфы. Ахи, вздохи. Слёзы из глаз.

– Ах, Веничка!..

– Ох, Ерофеюшка!..

– Прозорливец ты наш!..

– Орфеюшка!..

– Венедикт наш!..

– Свет наш Васильевич!..

– Ерофеев наш!..

– Веня-душечка!..

За ними – сучки и самочки. Те ещё штучки! Щучки. Железная, цепкая, хваткая гвардия. Легион.

У каждой сучки и самочки в сумочке или в руках не что-нибудь там второсортное – заветные «Петушки».

А вдруг да удастся Веничку этак по случаю, запросто, как и с другими бывало, взять да и закадрить?

А если кадрёж отпадает – вдруг да удастся дуриком у писателя обожаемого автограф им получить?

Было там, говорят, несколько литературных критиков, старавшихся, чтобы их не узнали.

Впрочем, опознан был Кожинов. «Кто ты, маска?» Пришлось-таки снять к лицу приросшую маску.

Говорят, был там Пинский. Тот, как всегда, и не думал скрываться. Просто – не было видно его. Вроде есть он – и вроде нет. Между тем он здесь. Наблюдает. Обобщает. Шекспировед! Видит – всё. А ума –   
палата.

Был даже один генерал, а-ля натюрель, настоящий, румяный, упитанный, в форме, с кремлёвскими крупными звёздами на золочёных погонах, вместе с шустрым, сметливым, вышколенным адъютантом, личным шофёром, сыном, внуком своим и племянником, приехавшим из Ростова.

(Этот племянник, несмотря на его молодость, был большой любитель выпить.

Здесь, в Москве, в генеральской квартире, не успев не то что привыкнуть к новой для него обстановке, освоиться, по-родственному, по-свойски, душевно поговорить, но даже отдышаться толком не успев с дороги, он сразу же почувствовал характерный зов издалека.

Звала его к себе, разумеется, выпивка.

Совершенно необходимо было срочно дерябнуть. Для начала – хотя бы пива.

Кое-как придумав подходящую причину, поспешно выбрался он из генеральского дома.

Поспрошал народ, по принципу «язык до Киева доведёт», – и вскоре оказался возле ближайшей пивнушки.

Заведение было гнусным и грязным. Но уж что-что, а это племянника не смущало. Мелочь, пустяк. Перебьёмся. Потерпим. Главное – пиво.

Генеральский племянник встал в очередь.

Очередь была километровой и двигалась вперёд со скоростью пожилой черепахи.

Минуты шли за минутами. Прошло уже более получаса.

А заветное окошечко, где производилась раздача пива, было всё ещё слишком далеко. Иногда начинало оно казаться недосягаемым.

Генеральский племянник стал нервничать. Он-то думал, что по-быстрому, в темпе вальса, управится. Раз-два – и привет. А тут – этакая тягомотина. Это в его молодые планы никак не вписывалось.

По счастью, в очереди за пивом стоял Аркадий Пахомов. Московский поэт. Бывший смогист.

Колоритный Пахомов сразу привлёк внимание опечаленного генеральского племянника.

Рослый, бурный, похмельный, бородатый Пахомов стоял рядом с крошечным, быстроглазым, розовоносеньким человечком в огромных валенках, обутых явно не по сезону, и громко, на всю пивнушку, читал ему стихи.

Племянник напрягся и вслушался.

Стихи были – про крольчат.

Племянник не знал, что это была коронная вещь Пахомова. Как теперь выражаются – хит.

Стихи ему – очень понравились.

К тому же Пахомов стоял намного ближе к окошечку раздачи пива, нежели гость столицы.

Решившись, племянник протиснулся к Пахомову и тронул его за плечо.

Пахомов укоризненно поглядел на незнакомца.

Племянник смущённо представился. И тут же сказал Пахомову, что ему, человеку приезжему, очень понравились только что услышанные случайно и душу разбередившие, да так, что впору заплакать, стихи, ну вот эти самые, да-да, вот-вот, про крольчат.

Пахомов – прямо расцвёл.

И тут же они познакомились.

И сразу же – подружились.

И Пахомов пустил приезжего ростовского человека в очередь, а вернее – поставил перед собой. Так, мол, и было, братцы. Человек этот, между прочим, очередь занимал. Перед кем? Перед ним, поэтом, воспевающим славных крольчат.

И всё обошлось. На радостях ростовский племянник набрал побольше пива – себе, Пахомову и человечку в огромных растоптанных валенках.

И вскоре все трое стояли в углу, подальше от шума, и пили желанное пиво.

И нашлась потом у Пахомова бутылка водки. Столичной.

И сразу же обнаружились у человечка в валенках две бутылки водки. Московской. А ещё – бутерброды с грудинкой, колбаса, огурец и вобла.

И стояли счастливые трое – и душевно, со вкусом, с чувством, выпивали – и разговаривали. Было вдосталь тем для бесед.

И тогда-то и спел Пахомов человеку, в Москву приехавшему из Ростова – и здесь, в пивнушке, познакомившемуся с ним, удалым поэтом, смогистом, пусть и в прошлом, а всё же – было, забулдыгой, рубахой-парнем, хоть всегда себе на уме, – спел Пахомов тогда две песни, знаменитые песни свои.

Первая – так начиналась:

– Раз иду я с другом Айзенштадт. Айзенштадт – фамилия такая...

А вторая – так начиналась:

– Я не согласен с городом Ростовом. Живёт там чёрствый, набожный народ...

Ну а дальше – всё остальное.

И потрясли пахомовские песни приезжего хмельного человека.

И попросил он разрешения списать слова.

И Пахомов – снисходительно позвонил ему это сделать.

И достал ростовский человек новенькую записную книжку – и дрожащей от волнения рукою вписал туда тексты обеих песен, которые, отпивая по крохотному глоточку водку, запивая её пивом и закусывая бутербродом с грудинкой, неторопливо, с хорошо разработанной дикцией, доходчиво, ясно, отчётливо продиктовал ему певец крольчат, друга Айзенштадта и города Ростова, москвич, работник бойлерной, поэт Пахомов.

И, списав слова, бережно спрятал ростовский человек свою записную книжку подальше, поближе к сердцу, во внутренний карман пиджака.

И долго потом стояли все трое за пивом и водкой, поскольку приезжий выразил желание, скромное, твёрдое, то есть мужское: добавить.   
И Пахомов его поддержал. И человечек в валенках, конечно же, поддержал. Вот потому и добавили.

И спохватился вдруг человек из Ростова: пора ведь возвращаться назад, к генералу!

Торопясь, попрощался с Пахомовым и с его приятелем в валенках.

И – помчался на всех парах к своему военному дяде.

Так разогнался, что лишь на бегу, по дороге, вспомнил: эх, какая досада! – напрочь позабыл он предложить Пахомову вместе пойти на вечер Ерофеева!.. Пахомов-то наверняка самого Ерофеева знает. Но теперь ничего не попишешь. И на вечер придётся идти не с Пахомовым, а с генералом. Впрочем, вдруг и Пахомов там будет? Всё возможно. Ведь это – Москва!..

И вернулся племянник ростовский к генералу. И тот, по-военному, по-мужски, да так артистично, что племянник диву давался, сделал вид, что он ничего не заметил. Ну, выпил – и ладно. Пустяки это. С кем не бывает!

И теперь человек из Ростова с генералом вместе стоял перед входом в Дом литераторов.

И в кармане его лежала записная книжка, в которой были им записаны песни, целых две, да какие, пахомовские.

Иногда племянник ростовский озирался по сторонам.

Он искал в толпе разраставшейся не кого-нибудь, а Пахомова.

Но Пахомова – не было здесь.

К сожалению. Что ж, бывает.

В это время Пахомов был с человечком в огромных валенках у приятелей. Пил там водку. И читал стихи – про крольчат.

И осталась память о нём в сердце гостя столицы. Надолго. Вместе с выпивкой. Вместе с крольчатами. Вместе с песнями – про Айзенштадта, друга лепшего, задушевного, и про город Ростов, с которым почему-то, знать, есть причина, есть для этого основания, не согласен поэт Пахомов, бывший узник Бутырок, герой, мастер устных рассказов, смогист, автор басен, любитель выпить, не согласен, и всё тут, баста, чёрствый там, в Ростове, народ, и один лишь ростовский житель поприличнее и помягче, тот, списавший слова его песен, да и он задевался куда-то, и теперь уж ищи-свищи, остаётся водку хлестать да крольчат своих вспоминать, – эх, крепка проклятая ханка, время тянется, длится пьянка, сигарета дымится, ночь наступает, никто не прочь продолжать, за бутылкой бежать, на ветру столичном дрожать, ну, достали, вот и светло, – а в Ростове, небось, тепло...)

Поодаль переминались с ноги на ногу

столичные дворники –

то есть провинциальные и принципиально творческие люди, при-  
ехавшие в Москву, дабы её покорить, а пока что получившие по лимиту дворницкую работу и жильё, чему они были, разумеется, несказанно рады.

Был там, как утверждают, один переодетый в старое пальто и надвинувший шляпу на самые брови член ЦК партии,

большой любитель песен Высоцкого, по пьяному делу, после баньки и до таковой, на охоте и на рыбалке, на приволье, на даче, в застолье, в кабинете своём, на веранде, где угодно, лишь бы послушать, как Володя поёт, умилиться, восхититься, слезу пустить, посмеяться всласть, повздыхать, призадуматься, озадачиться, пригорюниться, спохватиться, улыбнуться с прищуром, пальцем постучать по столу: так, так! – и махнуть рукой по-простецки, по-начальственному, по-русски: эх, да ну его, пусть поёт! –

а заодно, поскольку почти из той же оперы, из схожей области, о том же, в общем-то, хоть не совсем о том, да всё же как-то лёгшей на сердце, прочитанной и перечитанной, и, что греха таить, конечно, близкой, и понятной, даже слишком, поскольку то и дело задевала какую-то особую струну, звучащую в миноре и в мажоре, во всероссийском, во всеобщем хоре, – и прозы Ерофеева, конечно, известных всем вокруг, любой собаке, давно уже прижившихся в народе, неувядаемых, заветных «Петушков».

Да мало ли кто там был!

Мало ли кто – любопытствовал.

Мало ли кто – от любви большой к творчеству ерофеевскому пришёл сегодня сюда.

Мало ли кто – по приказу, который не обсуждается, по команде начальства строгого, встал, как штык, перед входом в гадюшник.

Мало ли кто – из желания увидеть воочию классика, чтобы случилось, как в сказке – встань передо мной, как лист перед травой, –

всё бросил, сбежал с работы,

пропустил занятия в вузе,

приехал на электричке в столицу из Подмосковья,

добрался на перекладных с далёкой московской окраины,

пришёл из центра пешком,

примчался сюда на такси,

прибыл сюда на своём собственном автомобиле,

доковылял сюда от ближайшей пивнушки, где он похмелялся разбавленным пивом – и в очереди длиннющей разнёсся пьянящий слух о вечере ерофеевском – и бросил он кружку свою с недопитым пивом, и почапал, как на свет маяка, к ЦДЛ,

поругался женой, не пускавшей одного его на неведомый, – подозрительный, странноватый, непонятный, на женский взгляд, и сулящий незнамо что, если будут всех разгонять, забирать в ментовку, лупить по мозгам ценителей Вениной, самиздатовской, алкогольной, нехорошей, поэмы ли, прозы ли, от которой одни убытки, да к тому же и огорчения, отрывающий мужа, кормильца, от родимого дома, вечер, – но зато проявил характер, совершил поступок мужской, хлопнул дверью, сбежал по лестнице, на приволье рванулся в пространство – и пришёл наконец сюда.

И так далее, и так далее.

Нет возможности всех перечислить.

Разрасталась толпа. Не толпа, но – бери покруче – стихия! Да, стихия. Ни больше ни меньше.

И мало ли кто в ней – был.

Не было там – пока что –

лишь одного-единственного

человека, ещё и какого!

Но о нём, человеке, – чуть позже.

Начальство Дома литераторов, при виде собравшейся у входа толпы, вначале обалдело, потом растерялось, но тут же собралось с мыслями, взяло себя в руки – и для начала решило повременить с допуском людей вовнутрь, то есть просто-напросто никого пока что в святая святых не пускать.

Пусть помаются на улице.

Пока что. Как уже сказано.

Для дела. Для подстраховки.

А там – поглядим, как быть.

Сообразим, что в данной ситуации предпринять.

Вечер-то должен, как ни крути, хоть лучше бы и обойтись без него, состояться, увы, состояться – раз уж, подумать ведь только, из-за какого-то там Ерофеева, ишь ты, писателя, на него, как на кинопремьеру, или нет, на концерт долгожданный, как, положим, на Ива Монтана, вон ведь сколько народу пришло!..

А людей число,

впрямь начальству назло,

всё росло, росло и росло...

И тут – пойдёт речь о том самом одном-единственном человеке, том самом, ничего ровным счётом, ну совершенно ничего, хоть руками недоумённо в стороны разводи, хоть головой об стенку от досады и ярости бейся, хоть сокрушайся без всякого толка от великой такой обиды, хоть локти себе от сознательной злости привычно и долго кусай, хоть просто, что, может, разумней всего, в неведении пребывай, о предстоящем вечере – цэдээловском, ерофеевском – не знавшем. Представьте –   
не знавшем.

Был это – собственной персоной –

знаменитейший советский поэт

Евг. Евтушенко.

Сидел он у себя на даче в Переделкине, вдыхал полной грудью, после бодрой спортивной пробежки, давно уже ставшей привычкой и для здоровья полезной чрезвычайно, такой приятный, удивительно свежий, целебный, омолаживающий, чистейший, изумрудной сосновой хвоей терпко пахнущий воздух, лесной, заповедный, тягучий, смолистый, из распахнутой настежь форточки щедро льющийся в поэтовы апартаменты, с картинами известных художников на стенах, с книгами и рукописями, с творческой тишиной, вполне заслуженным покоем и вырванной у судьбы волей, сидел за письменным столом – и творил.

Сочинял очередную поэму.

А может, и стихотворение.

А может, и прозу.

Диапазон творческих возможностей всемирно известного человека, того самого, который в России больше, чем поэт, был весьма широк.

Итак, сидел Евг. Евтушенко

у себя в загородной резиденции –

и корявым своим почерком, в котором не то что отдельно взятое, даже совсем короткое, даже из трёх всего букв состоящее, как всегда у него, энергичное, темпераментное, полемичное, со значением нужным, с подтекстом, с особым внутренним смыслом, с пылом, с жаром, с трезвым расчётом, и в то же время доходчивое, понятное всем и каждому, простое русское слово, но и букву, обычную букву, им написанную впопыхах, без сомненья по вдохновенью, в трансе творческом, в ритме пружинном, трудно было порой разобрать, и случалось, что буквы эти вдруг терялись в процессе писания, исчезали куда-то, проглатывались белым полем листа бумажного, словно белые снеги их заметали в пути, засыпали, и тогда они просто-напросто, по привычке, подразумевались, ибо некогда было поэту их выписывать поотчётливей, чай, не школьная каллиграфия, не китайские иероглифы, не красоты, сойдёт и так, – стремительно, весь во власти мыслей своих глобальных, находок, рифм корневых, двойных и тройных понятий, верхушки айсберга вместе со скрытой его частью, приёмов революционных письма молоком меж строк, шифровок и недомолвок, атак лобовых, приёмов войны партизанской успешной в самом тылу врага, замаскированных выпадов, ударов пониже пояса, гражданских речей, лирических мотивов, эпических образов, многозначительных пауз, порывов искренних, юмора, не только простонародного, но и весьма утончённого, добра с кулаками, фиги в кармане, уроков потомкам, иронии, простодушия, ловкости рук, умения показывать фокусы, страстности, трезвой публицистичности, догадок и обещаний, интимности, обобщений, частностей, мелочей, деталей, штучек, игрушек, впечатлений о заграничной жизни, а также о жизни российской глубинки, тирад, шарад, лабиринтов, туннелей, проникновенья в самую суть, а также тропинок тайных, охотничьих капканов, рыбацких сетей, гидростроительных дамб, катеров невидимой связи, трибунного гласа, знакомств с сильными мира сего, приятельских отношений с матёрым капитализмом, веры в светлое завтра, правильности во всём, темнот, обходных манёвров и прочих премудростей стиля, слога и поведения, – исписывал да исписывал одну страницу, другую, десятую, пятидесятую, и следующие, – и так вот страница шла за страницей.

И новая, новёхонькая, с пылу с жару, вещь его, штуковина не то чтобы посильнее Гёте, но ударная, с гражданственным звучанием, разумеется, с лирическими прослойками, само собою, с понятными и доступными   
для догадливых отечественных читателей намёками, а порою и с дерз-  
кими выпадами, публицистического толка, но самое главное – с потаённым, пронзительным, сокровенным, скандальным, шокирующим и врагов повергающим смыслом, читающимся между строк, обещала быть событием – так ему хотелось бы думать.

Но вот раздался – некстати, конечно, – телефонный громкий звонок.

И оторвал поэта от рабочего стола.

Недовольно морщась, поэт снял трубку.

И какой-то приятель-доброжелатель так взволнованно, как никогда у него не бывало, торопливо, взахлёб, задыхаясь от переполнявшего его и буквально кипящего в нём невиданного возбужденения, сообщил ему, что в Доме литераторов сегодня, да-да, именно сегодня –

уже скоро, совсем скоро, ну прямо вот-вот –

начнётся вечер Ерофеева.

Поэт бросил трубку – и побледнел.

Боже мой! – пронеслось в голове его, под кривою, наискось, этак по-хулигански, по-дворовому, из послевоенного времени, видимо, вырвавшейся, да так и оставшейся на поэтовом лбу, неровно подстриженной чёлочкой, – вечер!

И кого?

Самого Ерофеева!

С Ерофеевым познакомиться – Евтушенко мечтал.

Как-то не хотелось ему, конечно, учитывая собственное значение, немалое, для Союза, да и для прочих стран, глобальное, планетарное, а может быть и вселенское, на что хотелось бы всё-таки надеяться, – значение своё, личное, как поэта, как гражданина и кое-кого ещё, навязываться к Вене, по нахалке ли, с неким ли подобострастием, или этак по-простецки, по-актёрски сыграв удачно в своего, подъезжать к нему, чтобы он снизошёл, чтобы принял, чтобы выслушал, чтобы понял, что и Евг. Евтушенко такой же, как и Веня, подвижник, страдалец, то и дело властями гонимый, но зато своё дело великое, несмотря ни на что, продолжающий, и всегда свою линию гнущий, и везде, в любых ситуациях, выходящий сухим из воды, потому что один он такой уродился, и таково, так уж вышло, его призвание, – нет, решительно не хотелось взять да на голову свалиться к легендарному Ерофееву – принимай, мол, меня, я здесь.

Но мечта есть мечта. Познакомиться с Ерофеевым – очень хотелось.

Может, случай такой представится?

Оставалось на это надеяться.

Да, вот именно. Только на случай.

Евтушенко мечтал – и ждал.

Ерофеев у всех литераторов официальных тогдашних был притчей во языцех.

– Ерофеев!

– Ерофеев!

– Читали?

– Слышали?

– Знаете?

– Ну как же!

– Вот это да!

– Ай да парень!

– Ну, Ерофеев!

– Ну, пишет!

– Ну, в жилу!

– В точку!

Вот что можно было слышать в писательских домах.

И, понятное дело, на дружеских попойках. По Есенину. С которых не дойти до дома.

Ну и ещё – в кулуарах. Всяческих. Многочисленных.

Может, и в будуарах? Всё у нас может быть.

Ерофеева – обожали.

Ерофеевым – бредили. Грезили.

На него поневоле равнялись. Как в строю. В едином ли? Сложно разобраться. В строю так в строю.

С Ерофеевым были готовы все идти, как один, в разведку.

С Ерофеевым были согласны вместе пить. Запой так запой.

Ерофеевские портреты были рады повесить на стенку – вместо слишком для всех привычного, бородатого Хемингуэя.

Только где их взять, эти портреты? Как размножить их поскорее?

Хоть бы крохотную фотографию где-нибудь, на время, добыть!

Ну а там уже – дело техники.

И придёт наконец Ерофеев, моментально растиражированный всеми оптом его поклонниками, сразу в каждый писательский дом.

То-то радость там будет! И то-то будет в этих домах либеральных у писателей – пир горой!

Петушки – это вам не Москва. Но Москва – заодно с Петушками.

Ерофеев – почти «наше всё». Для писателей – в первую голову.

Пусть же в каждом писательском доме воцарится на стенке, в рамке, под стеклом, заместо иконы, золотая его голова!

Евтушенко – так рассуждал: познакомиться – это важно. Но знакомство такое – праздник. Надо к празднику этому загодя, хорошенько, разумно, умеючи, подготовиться. Чтоб на празднике – появиться во всеоружии. И во всём своём блеске. И славе. Планетарной. Общенародной. В чём-то, может, сопоставимой с ерофеевской нынешней славой.

Познакомиться – дело хорошее. И конечно же – наживное.

Это – можно. С этим – успеется.

И пока что, лучше всего, с этим всё-таки – подождать.

Всё должно быть естественным, искренним, органичным. Любое действие. Шаг любой. И любое знакомство.

В том числе – и с самим Ерофеевым.

А сейчас надо просто увидеть его.

Увидеть – и всё. Услышать.

Ведь, наверное, будет читать.

Что-нибудь. Из своих «Петушков».

На вопросы потом отвечать.

То есть тесно общаться с публикой.

Как сам Евтушенко – привык.

Уж это он делать мастак.

Уж он-то за горло держит любую аудиторию.

Интересно, сумеет ли справиться с нею – сам Ерофеев?

Евтушенко – бросил перо.

Ничего. Подождут писания.

Наверстает ещё. Напишет.

И, конечно, любую цензуру сочинение это пройдёт. Потому что в советское время надо знать, как – писать, что – писать.

А уж он-то – это умеет.

Надо было – спешить. На вечер.

Ерофеевский. Скорый. Сегодняшний.

Надо было – скорее добраться до Москвы. До столицы нашей. Той, в которой есть Ерофеев. Той, в которой – вечер его.

Нет, недаром Чехов придумал знаменитое, театральное, с должным пафосом и со страстью, заклинанье:

– В Москву! В Москву!

Да, представьте себе, – в Москву.

Да, в Москву.

Туда, в ЦДЛ!

Евтушенко – быстро собрался.

Облачился в своё привычное, страусино-фазанье-павлинье, с виду вроде бы негритянское, да, из Гарлема, что в Нью-Йорке, или афро-американское, как теперь выражаться привыкли, прямо с Явы или с Гаити, ну а может, с озера Чад, пригодное для повседневной, трудами наполненной жизни, а также и для концертов, для авторских вечеров, пёстрое, папуасье, заграничное, впрочем, с лейблами, ни на что вокруг не похожее, как и сам поэт-гражданин, восхитительное шмотьё.

Выскочил из дому. Шаг. Ещё шаг.

Марш-бросок. Пробежка трусцой.

Шаг. Рывок. Скорее, скорее!

Залез в машину. Включил зажигание. Так, порядок.

Нажал на всё, что положено когда-нибудь нажимать.

С железною хваткой борца и трибуна – уверенно взялся за руль.

Дал газу. Рванулся с места.

И – вскоре уже, с ветерком, он мчался по направлению к Москве, – туда, в ЦДЛ, где должен был состояться ерофеевский авторский вечер.

Он очень спешил. Торопился, сразу – за десятерых.

Поддавал то и дело газу.

Мало, мало. Ещё поддать!

Как в парилке. Чтоб с пылу, с жару.

Как на чтении – в Лужниках.

Или, может, в Политехническом.

Нет, на площади, – там, у памятника Маяковскому, словно встарь.

Нет, пожалуй, пограндиознее, поэффектней – на стадионе.

Чтобы публика – восторгалась.

Чтобы критики – локти грызли.

Чтобы слава – лавиной шла.

Наращивал скорость. Втягивался в движение. Скорость света готов был преодолеть.

Визжали тормоза. Покрышки ныли.

Машина мчалась, точно лошадь в мыле.

Нет, самолёт. А может быть, ракета?

Не удержать гаишникам поэта!

За стеклом, дрожащим, потным, проносились –

и незамедлительно сливались

в общее размытое пятно –

придорожные строения, кусты,

люди, звери, птицы и деревья.

Отчаянно, часто сигналя, поэт обгонял шутя, словно заправский гонщик на ралли, другие машины.

То и дело поэт вырывался – на корпус, ещё на полкорпуса, ещё на чуть-чуть – вперёд.

Вцепившись руками в руль, думал он, мчась в пространство, только лишь об одном:

скорее, скорее, скорее!

И вдруг машину его –

занесло почему-то в сторону.

Что такое? Что за нелепость?

Что, по Ильфу с Петровым, туды его, а куды? – конечно, в качелю, – или, может, как в песне, где на одного – колыбель да могила, и всё тут, ну а может, ещё по какой не вполне понятной причине, только факт остаётся фактом, и машина уже на бровке, – слава Богу, что не в кювете, – руки-ноги целы, и ладно, с остальным разберёмся позже, –

что, скажите, произошло?

Поэт, что вполне понятно, подумав, остановился.

Вышел, брови насупив, строг и суров, на шоссе.

Бросил внимательный взгляд на своё, такое знакомое, привычное, – как рубашка навыпуск, просторная, лёгкая, или блестящий, с искрой, карнавальный, прямо из Рио, с лёгким шуршаньем, с отзвуками самбы и боссановы, ёлочный, цирковой, шикарный, отчасти фокуснический, заграничный чудо-пиджак, – средство передвижения.

Четырёхколёсный агрегат, называемый автомобилем, в просторечии –   
легковушка,

стоял, но стоял не так,

как следует, как полагается,

а несколько по-иному,

вроде бы как с похмелья,

то есть – наперекосяк.

Ну что ты на это скажешь!

Авария, это факт.

Колесо! Колесо, конечно!

Проклятое колесо!

Битовское, возможно, из одноимённой повести властителя дум столичной и даже провинциальной либеральной интеллигенции, певца   
  
автомобилизма, любителя путешествий, а также стихов и приятельских застолий, большого охотника до всяческих разговоров, специалиста известного по монологам длительным, как правило, оригинальным и даже парадоксальным, что принесло ему славу мастера устного жанра, хоть мало кто понимал, что дело всё в колесе, поскольку речь его катится этаким колесом через годы и расстояния, как в песне советской поётся, катится, не прокалываясь, а ежели где и проколется, то после ремонта сызнова, как ни в чём не бывало, катится сквозь столетие фирменным колесом?

А может, и это вернее, то самое, всем знакомое, из школьной ещё программы, ну как же не помнить, гоголевское, то, о котором гадали – доедет ли, не доедет ли, до Москвы ли, куда ли подальше? – русские мужики, – мистическое колесо – оттуда, откуда вышло многое в литературе, вовсе не из «Шинели», прямо из «Мёртвых душ»?

Или всё же его, евтушенковское, поэтическое, политическое, переделкинское, советское, а возможно, и заграничное, да теперь всё одно негодное, горемычное колесо?

Проколол! Какая досада!

Ехал, ехал. И вдруг – проколол!

Но – тут же решил поэт – в действиях всех его никаких не должно быть проколов.

Он бросил свою машину – прямо там, на дороге.

Не до неё сейчас.

Успеть бы – туда, в ЦДЛ, на вечер, да непростой, а ерофеевский вечер!

Вот что нынче – самое главное.

Вот что нынче – важнее всего.

На вечер! А там – разберёмся.

Он стоял на обочине, длинный, в кепочке-восьмиклинке, со свисающей из-под неё на узкий сморщенный лоб взмокшей косою чёлочкой, –   
и махал проносящимся мимо него легковым, всем подряд, машинам донкихотовскими, гулливеровскими, дуремаровскими руками:

подвезите, мол, подвезите!

И его наконец – подвезли.

Кто-то из проезжавших мимо современников, почитателей евтушенковского таланта, солидарный с ним и в гражданской, маяковского толка, позиции, – вдруг, нежданно, притормозил рядом с ним. Он узнал поэта.

Современник поэта – сразу же приоткрыл скрипучую дверцу.

Современник поэта – взглянул вопрошающе, понимающе, на кумира, верстой стоящего на обочине, в кепке, с чёлочкой, вкось на лоб его мудрый съехавшей, и руками, как мельница, машущего всем подряд легковым машинам.

Современник поэта – спросил перенервничавшего поэта, осторожно спросил, сочувствуя, деликатно спросил, но твёрдо, по-водительски, по-мужски, по-простецки, по-всероссийски, по-советски, почти по-свойски, но и вежливо, без эмоций компанейских, без панибратства, уважительно, понимая, кто стоит перед ним:

– Что стряслось?

Евтушенко – всё объяснил.

И вскоре уже – он мчался в чьей-то чужой машине, сидя рядом с шофёром, на предельной, а может быть, даже запредельной, поскольку такое с ним частенько бывает, скорости, – мчался, прочим фору давая, прямо в будущее, мечтая увидаться там с Ерофеевым, сочинителем петушков, не на палочке, – через тире, за которым встаёт Москва с выпивоном, Кремлём, вокзалом, всем набором галлюцинаций, снов, прозрений, видений, грёз, всем коктейлем из слов, рассуждений, всем синдромом похмельным, тайнами на пути к астралу, ментальными откровениями, всем оптом, что в поэме и вне поэмы есть, чего там попросту нет, и особенно тем, чего в ней, поэме, и быть не может, –

Евтушенко был весь в полёте, на подъёме, на автопилоте, в трансе, может быть, или в прострации, или, может, снова во власти вдохновения, – кто его знает! – важно то, что летел он, мчался, прямо в песню, –   
прямо к Москве.

И он, поэт и трибун, успел на вечер. Успел.

Ну, чуть-чуть припоздал. Что делать!

Но это – не в счёт. Бывает.

Всё равно успел – вот что важно.

Расплатившись с шофёром и выскочив из машины возле Дома литераторов, Евтушенко первым делом увидел гудящую толпу, которую почему-то не пускали вовнутрь.

Что такое? Почему?

Неужели вечер отменили?

Евтушенко винтом, спиралями, загогулинами, зигзагами, весь в поту, с немалым трудом, но прошёл-таки сквозь толпу.

Его узнали, конечно. Да и как его не узнать?

Раздались восклицания:

– Почему не пускают?

– Пора!

– Время подошло!

– Безобразие!

И уже прошелестело сквознячком:

– Обманули!

– Отменили!

– Запретили!

И тогда Евтушенко, сразу же, не раздумывая особо, понимая, что ситуация заработала на него, взял, как это не раз и не два у него бывало, тем более и накопленный опыт имелся, и привычки политика сказывались, этак запросто, хваткой железной, без миндальничания всякого и сюсюкания ненужного, что за ним никогда не водилось, нет, напротив, он был магнит, был кремень, огниво и трут, был огонь, он шутя, играючись, взял, как лошадь берут под уздцы, преспокойно, инициативу, взял, и всё тут, и всё этим сказано, доверяясь своей интуиции, взял, как есть, в тот же миг, на себя.

– Граждане, послушайте меня! – произнёс он артистично и много-  
значительно строку из своего знаменитого стихотворения.

– Слушаем! – откликнулись граждане.

– Сейчас я всё выясню! – пообещал Евтушенко.

– Поэт в России больше, чем поэт! – уважительно сказали в толпе.

И осаждающая входную дверь гадюшника толпа – раздалась в стороны.

В образовавшемся узком, вибрирующем проёме – быстро, по-деловому, по-боевому, собранно, работая, по привычке, на публику, но и помня, что должен помочь он людям, чеканя эстрадный шаг, чтоб вздрогнул заядлый враг, а чтоб лопнули все враги, увеличивая шаги, шурша шмотьём заграничным, сурово прошёл Евтушенко к массивной входной двери, запертой прочно, наглухо, –

и попытался, с налёта, с поворота, с разбега, с ходу, сразу же, тут же, при всех, чтоб видели, чтоб запомнили, чтоб вспоминали потом, чтобы знали об этом потомки, а тем более – современники, сограждане, люди советские, резко, звучно, картинно, с силой открыть её.

Толпа – восторженно ахнула,

потом – рассерженно охнула,

потом – растерянно ухнула, –

и выжидающе-чутко, напрягшись до невозможности, донельзя, слегка возроптав, сгустилась в комок единый –

и вот, ненадолго, затихла.

За дверью – все это видели – замаячили, замелькали напряжённые, гнусные рожи гадюшной администрации.

Евтушенко тут же узнали –

и пустили, конечно, вовнутрь.

И тогда, ещё стоя в дверях, поэт, со значением должным, по-граждански, спокойно и просто, но с достоинством, оглянулся на давно с него не спускающую глаз, горящих любовью, толпу,

затем не спеша перевёл осуждающе-строгий свой взгляд на застывшую перед ним почтительно администрацию –

и простёр свою длинную руку к ожидающей слова толпе, и сказал, повелительно, громко, так, что все услыхали его:

– Всех сию же минуту впустить!

И толпа, на пути своём сминая администрацию, ринулась тут же вовнутрь, в предбанник, в фойе гадюшника, –

и подхватила поэта, и подняла повыше, и понесла его на руках, на своих руках, спасителя и героя, трибуна и гражданина, и несла его так до самой раздевалки (могла бы и дальше, но толпа тоже меру знает, и уж если несёт кого-нибудь, то всегда до поры до времени) –

и поэт, хорошо понимавший, что за сила такая – толпа, вёл себя с ней подчёркнуто вежливо, то есть просто ей позволял делать всё, что она хотела, вот сейчас, а потом посмотрим, как вести себя дальше с ней, –

и поэт принимал толпу, принимал все эмоции, почести, восклицания, славословия, принимал это, как подобает настоящему гражданину и трибуну, к тому же поэту, как само собою сложившееся торжество свободы и воли, как типичное проявление всенародной к нему любви, как пример единения душ и сердец в ситуации сложной, драматичной, почти фронтовой, принимал всем своим естеством, всей душою своей, как должное.

Побурлив, не так уж и долго, для солидности, как положено, для приличия, у раздевалок,

толпа спохватилась, опомнилась –

и сызнова собралась в единое, грозное целое.

Администрация Дома литераторов, то есть гадюшника, изрядно перетрухав, насмотревшись на все безобразия, что пришли сюда вместе с толпой, и предчувствуя смутно грядущие беспорядки, вконец стушевалась – и теперь вообще уже больше, отстранившись от всех происшествий и событий, любых, возможных, невозможных, каких угодно, безразлично, и лучше подальше от стихии людской держаться, чуя запах дразнящий жареного, чуя силу, не возникала в поле зрения, будто и не было в грозах нынешних вовсе её.

Была – несметная, пёстрая, кипящая, – только толпа.

И вот – напряглась она.

И вот она – сосредоточилась.

И вот она – воздуху в лёгкие, с запасом, – вдруг набрала.

И – ринулась, всё сметая на верном пути своём, по направлению к залу.

Разумеется, впереди устремившейся к залу толпы – находился поэт Евтушенко.

Краем острого, цепкого, всё вокруг подмечающего, фиксирующего детали, охотничьего, прицельного, намётанного, соколиного, поэтического, гражданского, трибунного, всенародного, дальнозоркого, быстрого глаза успел он заметить в сторонке скромное, даже слишком, невзрачное объявление о том, что да, в самом деле, сегодня здесь должен быть – вечер, – ага, ну, то-то же, всё правильно, – Ерофеева.

Но вчитываться повнимательней в короткий текст объявления – было уже невозможно, да и попросту некогда.

Благодарная, вся, целиком, своему поэту-трибуну, за геройство, за подвиг его, за возможность прорваться сюда, за участие в общем прорыве, фронтовом, боевом, решительном, взбудораженная, раскалённая, предвкушающая грядущую, столь желанную, скорую встречу со своим любимейшим классиком самиздатовским, запрещённым, алкогольным, в доску своим, потому что всё здесь своё, и доска, и поэт, и классик, и гадюшник, и люди, всё, ибо вечер такой, толпа, без натуги особой, вынесла из-под чёлки своей глядящего на сограждан своих поэта, предводителя их, властителя дум, в большой, для мираклей созданный, для феерий, для фантасмагорий, освещённый так ярко, празднично, светлый, к действу готовый, к таинству, к волшебству и блаженству, зал.

И зал – всего лишь за несколько считанных, быстрых мгновений – заполнился до отказа.

Все места были сразу же заняты.

Люди стояли в проходах, и там же, в проходах, сидели на полу, но это ведь так, ерунда, пустяки, и главное – все они здесь, и все они, чудом, что ли, попали на ерофеевский вечер.

Для Евтушенко, поэта, –

место, конечно, нашлось.

Он сидел, разумеется, в первом –

ближе к сцене и к Вене – ряду.

В зале, – как говорится в давней, полузабытой песенке Александра Вертинского на слова Александра Блока, – воцарилась тишина.

Звенящая, напряжённая, взрывчатая тишина многолюдного сборища.

«Гул затих».

Зал – молчал.

Все – ждали.

Ждали – заветного мига.

Ждали – что скоро, совсем уже скоро,

вот-вот, ну, прямо сейчас,

на сцену выйдет любимый всеми

человек-легенда, писатель славный,

Венедикт Васильевич,

просто – Веня,

Веничка Ерофеев.

На сцену вышел –

Виктор Ерофеев...

– Как? Вместо Вени – Виктор?

– Бред какой-то!

– Что за подмена?

– Это почему?

Да, Ерофеев.

Но – не Венедикт.

Да, нынче вечер.

Но, увы, – не Венин.

На сцене – Виктор.

Тоже – Ерофеев.

Он – вместо Вени?!..

Что тут началось!..

И я опускаю подробности того, что же, собственно говоря, началось в зале Дома литераторов, потому что и так с этим всё уже – согласитесь, читатели, – ясно.

И оставляю там, в прошедшем советском времени, раздосадованного поэта, гражданина Евг. Евтушенко, так и не увидавшего подлинного Ерофеева, то есть Веню, а вовсе не Виктора, оставляю его – в былом, вместе с разочарованной, ропщущей, грустной, за нос проведённой, людскою толпой.

Да ещё и вместе со всезнающим Кублановским, которому вскорости уже предстояло отбывать в заграничную семилетнюю жизнь, без всяких там Ерофеевых, Венедиктов или же Викторов, но зато со всяческими преимуществами перед жизнью советской – с тем самым Парижем, и с тою Сеной, по которой, как написал про него Саша Величанский ещё в семьдесят четвёртом году, поплывёт он, как фантик измятый конфетный, по течению, вдоль да вдаль.